

ПИТОМНИК КЛЕВЕТНИКОВ

(Русский исследовательский центр в Гарварде)

Ю. И. ИГРИЦКИЙ, Е. Г. ПЛИМАК

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Хотя американцы начали проявлять интерес к нашей стране очень давно, систематически и разносторонне история России в Америке перед первой мировой войной не изучалась. В исследовательской работе явное предпочтение отдавалось не социальным и экономическим дисциплинам, а литературе и лингвистике. К 1914 г. кафедры русского языка и литературы имелись в трех университетах: Гарвардском, Колумбийском и Калифорнийском. В других американских высших учебных заведениях, в той или иной мере знакомящих учащихся с Россией, по этим дисциплинам было не больше одного преподавателя¹. Студенты преимущественно изучали историю Англии и Франции, в меньшей степени Германии и Италии, но не России, которая считалась «медвежьим углом».

Первая мировая война и особенно события 1917 г. «решительно поставили Россию на первое место в кругу интересов американской общности»². Еще бы: за год в «медвежьем углу» свершились две революции! Обе революции, а особенно Октябрьская, были почти полной неожиданностью для общественного мнения США.

В буржуазной прессе и в официальных кругах, даже по признанию самих американских историков, «царило смятение», мешающее пониманию русской революции и большевизма³. Но неспособность понять смысл происходящих в России событий была не просто расплатой за пренебрежительное отношение к русским делам, как обычно считают сами буржуазные авторы. Она была социальной болезнью, классовой слепотой.

Американский империализм не мог примириться с тем, что в одной из крупнейших стран мира установился новый строй, поднявший знамя освобождения человечества от капиталистической эксплуатации, предложивший всем народам справедливый мир. С политических трибун и церковных амвонов, с газетных полос и страниц журналов на Советскую Россию полились потоки клеветы, принимавшей порой, как свидетельствует, например, Ф. Шуман, чудовищные формы, а то и просто переходившей в дикую брань. Угрозы исходили от самых высокопоставленных лиц: «посол Фрэнсис настаивал на истреблении боль-

¹ «The Russian Review», Spring, 1948, p. 63.

² «American Research on Russia», Bloomington, 1959, p. 23.

³ С. А. Manning. A History of Slavic Studies in the United States, Milwaukee, 1957, p. 34.

шевиков, государственный секретарь Лансинг поддакивал: «Большевизм должен быть подавлен»⁴.

Империалистическая Америка, как известно, этим не ограничилась. Американские интервенты топтали поля России вместе с интервентами других стран. Приняв участие в попытках удушения первой социалистической республики, «американские миллиардеры, эти современные рабовладельцы, открыли особенно трагическую страницу в кровавой истории кровавого империализма»⁵.

Иначе отнеслись к русским событиям простые люди США. Они многого не понимали в происходящем, но были твердо убеждены, что русский народ вправе сам распоряжаться своей судьбой. Прогрессивные американцы приветствовали Октябрьскую революцию, старались рассказать народу правду о России. Джон Рид был одним из тех, кто стал разъяснять Америке, «что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата»⁶.

На примере отношения к Д. Риду прекрасно видно и то, как рьяно стремилась официальная Америка скрыть правду о России. По свидетельству А. Р. Вильямса, материалы Рида о русской революции пытались сначала конфисковать полицейские агенты. Шесть раз в контору издательства, которое предприняло публикацию его книги, врывались наемные головорезы с целью выкрасть рукопись. Риду закрыли доступ на страницы прессы, а когда он стал выступать с речами в американских городах, решили посадить его под замок. «И вот его арестовывают, — пишет Вильямс, — и не раз и не дважды, но двадцать раз... Ни один американский город не чувствует себя спокойным, пока не арестовывает Джона Рида хотя бы один раз. Но ему постоянно удается освободиться на поруки или добиться отсрочки суда, и он тотчас же спешит дать бой на какой-нибудь новой арене»⁷. В «свободной» Америке, как видим, можно было совершенно свободно клеветать на большевизм, но не было свободы разоблачать клевету!

И в дальнейшем проводимая американскими правящими кругами политика непризнания СССР не способствовала росту «русских исследований» в Америке. С другой стороны, эта политика оказывала сильное влияние на тех, кто все же выбирал историю СССР в качестве изучаемого предмета. Некоторые американцы и даже представители администрации высших учебных заведений, отмечает Ф. Мосли, «с трудом верили тому, что Россия (т. е. Россия социалистическая. — Авт.) могла быть предметом объективного исследования и преподавания. Ученых, интересующихся Россией, нередко спрашивали: а вы за нее или против?»⁸.

Еще одно обстоятельство оказало огромное влияние на изучение России в Соединенных Штатах. К. Мэннинг, характеризуя его развитие, свидетельствует, что «в течение 20-х годов большинство соискателей докторских степеней были русские или лица русского происхождения, приехавшие в США после революции в поисках вакансий в системе образования»⁹. Может быть, это были безработные, которым не нашлось места в гигантской перестройке, осуществляемой на их родине? Или абитуриенты, не принятые в русские вузы? Или энтузиасты культурных связей Советской России и США? Нет, это были, как пишут сами американцы, «русские белогвардейцы, бежавшие от большевиков в Соединенные Штаты», люди, «начиненные необычайной силы ненавистью» к Советской России¹⁰.

⁴ F. L. Schuman. Soviet Russia since 1917, N. Y., 1957, p. 115.

⁵ В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 41.

⁶ Этот отзыв В. И. Ленина о Д. Риде см. в предисловии к книге Джон Рид. 10 дней, которые потрясли мир, М., 1957, стр. 5.

⁷ Там же, стр. 348—349.

⁸ «American Research on Russia», p. 5.

⁹ С. А. Мэннинг. Указ. соч., стр. 52.

¹⁰ «The Russian Review», Autumn 1945, p. 104—105; С. А. Мэннинг. Указ. соч., стр. 14; F. L. Schuman. American Policy Towards Russia, London, 1929, p. 153.

Эти жаждущие вакансий «беженцы» легко нашли для себя «выдающиеся посты в ведущих университетах и могли оказывать значительное влияние». Им были предоставлены, читаем в журнале «The Russian Review», все возможности объяснить «кое-какие вещи о России»¹¹. Какие именно «вещи о России» объясняли американцам белогвардейские эмигранты, догадаться нетрудно. Некоторые из них сменили имена: Черешнев стал мистером Черри, Захаренко — мистером Заком, Дворниченко — мистером Деворном¹². Но остались неизменными их политические убеждения, вражда к большевизму и социалистической России.

Характер влияния русской белоэмиграции на изучение России и СССР в Америке выявился довольно быстро. В большинстве трудов американских ученых по русской истории и литературе, написанных с 1917 по 1941 г., исследовались преимущественно история и литература дореволюционной России¹³. Случайно ли «выпали» 24 года советского периода? Или другой факт. Мэннинг свидетельствует о том, что в 20-е и 30-е годы, когда многие учреждения США «кишели прокоммунистами», отделения при университетах, занимающиеся славистикой и «казавшиеся наиболее уязвимыми, каким-то образом спаслись. Если кто и заразился коммунизмом, то очень немногие»¹⁴. Оставим на совести реакционного историка басни о коммунистических агентах, «кишащих» в учреждениях США. Но разве не показателен тот факт, что достижения СССР оставили безразличными именно людей, специально занятых его изучением?

Если первой вехой, знаменовавшей рост интереса в США к русским делам, были события 1914—1918 гг., то второй вехой явились события 1941—1945 гг. По существу они стали еще одним сюрпризом для американских политических кругов и «знатоков России». Неожиданность была слишком велика: фашистский «бронированный кулак», сокрушивший военную мощь большинства стран Европы, оказался бессильным перед «коLOSSом на глиняных ногах», как крикливо называла Советский Союз буржуазная печать. «Только после того как русские доказали, что нацистам не сломить их сопротивления, — писал англо-американский научный журнал, — возник широкий интерес ко всему русскому. Рост этого интереса был настолько головокружительным, что в области изучения СССР обозначились перебор студентов и плачевная нехватка преподавательских кадров. Начиная с весны 1943 г. (т. е. после Сталинградской битвы. — Авт.) интерес к русскому языку стал небывало высоким»¹⁵.

Особый интерес к изучению СССР начали проявлять прежде всего различные ведомства вооруженных сил США. К середине войны, пишет Мосли, ясно выявилась «острая потребность в переводчиках, специалистах-разведчиках, связистах и военных экспертах при правительстве», говорящих по-русски и знающих Советский Союз¹⁶. О том, насколько велика была эта потребность и насколько интенсивно она удовлетворялась, говорит следующий факт: в Морской школе языков в штате Колорадо на занятия по русскому языку уходило 11 (!) часов в день; весь курс обучения составлял 9 месяцев¹⁷. Армия и флот приступили к созданию так называемых «программ районного обучения», где особое место заняло изучение СССР. А так как это изучение в военных ведомствах было поставлено на широкую ногу, масштабы работы «подавали скромные усилия» научных центров. Армейские программы предусматривали широкое сотрудничество с академическими кругами; так, в вы-

¹¹ С. А. М а н н и н г. Указ. соч., стр. 48; «American Research on Russia», p. 2; «The Russian Review», Autumn 1945, p. 109—110.

¹² Там же.

¹³ «American Research on Russia», p. 4.

¹⁴ С. А. М а н н и н г. Указ. соч., стр. 60—61.

¹⁵ «The Slavonic and East European Review», April 1947, p. 530.

¹⁶ «American Research on Russia», p. 6.

¹⁷ «The Slavonic and East European Review», April 1947, p. 531.

полнении одной из них участвовали 19 университетов США, в том числе и Гарвардский¹⁸. «Важным дополнительным результатом развития изучения России и СССР, — добавляет Мосли, — явилось усиление исследовательской работы внутри правительственных органов. В большой степени это было делом рук молодых ученых, пришедших в эти исследовательские органы из центров районного изучения; их репутация в государственных учреждениях высока, и они внесли ценный вклад в формирование политики»¹⁹. Это было реальным соприкосновением академических кругов с кухней, в которой готовилась далеко рассчитанная внешняя политика Соединенных Штатов. Люди, попадавшие в эту кухню, сначала впитывали ее пары и запахи, а затем, усвоив азы внешнеполитической кулинарии, сами стали предлагать рецепты. И то, что многие из них после окончания войны вернулись на преподавательскую и исследовательскую работу в высшие учебные заведения, в немалой степени определило характер дальнейшего развития «советоведения» в США.

Именно концом второй мировой войны датируется начало систематического изучения русской и советской истории в колледжах США. Потребность такого изучения еще более усилилась, когда стала очевидной новая расстановка сил на международной арене. В 1946 г. в статье, оповещающей об организации Русского института при Колумбийском университете, писалось об СССР: «Никто не будет сейчас спорить с тем, что это сильнейшая держава в современном мире, с которой Соединенным Штатам придется иметь дело». Далее указывалось, что образованный американец завтрашнего дня должен знать русскую историю, литературу, политическую теорию и экономику так же хорошо, как его отец знал эти черты жизни Франции и Германии²⁰.

И если сегодня образованный американец не только не знает хорошо русскую историю, экономику, философию и литературу, но и не получил даже мало-мальски объективного представления о них, — это прямое следствие того, что американская официальная наука была поставлена на службу политике правящих классов, взявших курс на холодную войну. Духовную атмосферу, в которой произрастало американское «советоведение», ярко охарактеризовал Фредерик Шуман в книге «Россия после 1917 г.». «В Америке, — писал он, — «холодная война» породила... «маккартизм» и угрожала в какой-то отрезок времени утопить все нормы благопристойности и здравомыслия в миазмах подозрения, страха и ненависти... Сотни людей были оклеветаны, а тысячи лишились средств к существованию и были изгнаны с общественной службы по обвинениям в «коммунизме» и симпатиях к Советам»²¹.

Зато в те годы в США были привлечены «лучшие силы» международного антикоммунизма, самые ярые пропагандисты «холодной войны», был использован весь прошлый опыт клеветы на СССР. Мэннинг, например, прямо признает, что «после второй мировой войны большинство политических лидеров, отказавшихся принять коммунизм, очутились в

¹⁸ Там же; «American Research on Russia», p. 6.

¹⁹ «American Research on Russia», p. 16.

²⁰ «The Russian Review», Autumn 1946, p. 97.

²¹ F. L. Schuman. Soviet Russia since 1917, p. 403. А вот конкретный случай, о котором рассказывает человек, в чьей лояльности по отношению к обществу строю США вряд ли можно усомниться, — член Верховного суда Уильям Дуглас: «Было не всегда безопасно даже принимать у себя представителя из коммунистической страны, хотя бы он был видным специалистом в той или иной области. Весной 1959 г. я был в Юридической школе Вайомингского университета. До меня туда приехал один юрист из Польши. Не успел он добраться до университетского городка, как в администрацию позвонили из ФБР и пожелали узнать, кто послал ему приглашение. Всякий, кому дорога традиционная свобода науки, содрогнется при мысли о вторжении полиции в священные пределы университетских аудиторий и лекционных залов» («За рубежом», 11 марта 1961 г., стр. 22).

Соединенных Штатах». Характерно и то, что потомки белогвардейской контрреволюционной эмиграции заняли в научном мире США еще более почетное место, чем их отцы. Они были «доукомплектованы» предателями Родины, которых американской разведке удалось наскрести на европейском материке, а также политическими эмигрантами из стран народной демократии, и получили щедрую финансовую поддержку. Глеб Струве (сын бесславного П. Струве) с восторгом описывает процесс «становления на ноги» новой русской эмиграции: «В силу сложившегося в послевоенные годы международного положения она быстро приобрела влияние, к ее голосу стали прислушиваться, ее услугами стали пользоваться и правительственные учреждения (особенно в США) и общественные организации, в размерах, в которых это и не снилось старой эмиграции»²².

Связь с реакционной политикой и широкое привлечение подобных «экспертов» определили характер и направление работы, проводимой во многих научных учреждениях, основанных после войны: Русском институте при Колумбийском университете, Институте по изучению современной России при Фордхэмском университете, Институте славяноведения при Калифорнийском университете, Славянском институте при Маркетском университете (Милуоки) и других. Среди них был и Русский исследовательский центр в Гарварде...

ОТ КОГО ЗАВИСЯТ «НЕЗАВИСИМЫЕ» УЧЕНЫЕ

Деятельность Русского исследовательского центра при Гарвардском университете является лишь одним примером связи официальной науки США с финансовыми и политическими кругами, но примером превосходным.

Вряд ли где-либо влияние белоэмиграции на американское славяноведение было столь сильным и прочным, как в Гарварде. В известном смысле слова этому университету «повезло»: еще в 1927 г. он започувствовал эмигранта, заложившего основы изучения русской истории в США, создателя целой школы американских славистов — М. Карповича (о котором подробнее будет рассказано ниже). Видимо, именно традиции и характер исследований русской проблематики в Гарвардском университете были определяющим фактором, когда весной 1947 г. Корпорация Карнеджи решила вопрос, какому из университетов доверить осуществление финансируемой ею программы изучения СССР. Большую роль сыграло и то, что в 1946 г. в Гарварде была уже разработана «Программа изучения России», наметившая темы для докторских диссертаций, а также образовано специальное «Отделение изучения социальных отношений», которым особенно заинтересовалась Корпорация Карнеджи. Финансисты и руководители Центра начали переговоры и уже к концу 1947 г. выяснилось, что партнеры вполне довольны друг другом. Были приглашены преподаватели и отобраны студенты, знающие русский язык. 1 февраля 1948 г. Гарвардский центр по изучению России официально начал свое существование. Штат его поначалу был невелик: немногим более дюжины человек. Упор делался на исследовательскую, а не на преподавательскую работу. Договор между Корпорацией и Центром был заключен на 5 лет, но «его величество Капитал» остался так доволен научным миром Гарварда, что дважды соглашался продолжить финансовую поддержку на такой же срок²³.

Финансовую зависимость «исследовательского центра» от монополий не пытается отрицать ни один из его сотрудников, но они категорически

²² Г. Струве. Русская литература в изгнании, Нью-Йорк, 1955, стр. 386.

²³ Заметим, что подобным образом финансируется работа и других научных учреждений США. Если в 1952 г., например, Гарвардский университет получил от монополий 11,8 млн. долларов, то Иэльскому университету было переведено 13,6 млн., Колумбийскому — 6,7, Корнельскому — 6,4 (См. «Вопросы истории», 1955, № 6, стр. 179).

отвергают, что эта финансовая зависимость влечет за собой зависимость идеологическую и политическую. Авторы отчета о деятельности Русско-го исследовательского центра уверяют, что тематика его исследований «никем не направляется». «С самого начала, — заявляют они, — ...Центр предоставлял возможности для работы, пристанище, научное руководство, поощрял, вдохновлял, материально поддерживал исследователей, обеспечивал их сотрудничество со специалистами в разработке родственных тем, но он не нанимал исследователей и не говорил им, что делать»²⁴. Знакомая песня! Буржуазные ученые любят кричать на каждом перекрестке о полной свободе, полной независимости и автономии своего творчества. Лишь одна нотка вносит диссонанс в эту хвалебную песнь гарвардцев «свободе пера» в западном мире: «ввиду того, что фонды поддержки ограничены, существует, конечно, отбор при определении, какие темы и каких исследователей следует поддерживать»²⁵. Что может быть яснее: финансовая зависимость определяла отбор и «ненаправляемых» тем и «ненанимаемых» специалистов. Подтвердить это не так уж трудно — стоит только бросить взгляд хотя бы на некоторые темы, разрабатывающиеся в Гарварде.

В одной из книг, выпущенных Центром, читаем: «В соответствии с официально выраженным желанием Корпорации Карнеджи» в Гарварде начали изучаться антропология, психология и социология²⁶; в применении к СССР это означало исследование характера советского человека и общественных отношений в нашей стране. Официально декларируемая цель программы «Изучения общественных отношений» — «проследить процессы развития и изменения определенных институтов и советской системы в целом, а также предугадать вероятный курс их дальнейшей эволюции». Концерн Карнеджи интересуется будущим нашей страны — но его, разумеется, волнуют не проблемы перехода к коммунизму. Нет, он «выясняет», когда и в результате чего можно ожидать «краха» социалистической системы, насколько обоснованы расчеты на то, что коммунистические идеи утратят свою притягательную для человечества силу. Таков основной политический заказ монополистических кругов США, заказ, определяющий тематику исследований: изучение разного рода мнимых «центробежных сил», якобы разлагающих систему социализма. И это видно не только на примере вышеуказанной программы, собирающей слухи о Советском Союзе, изучающей «советскую золотую молодежь», «блат», «алкоголизм» и детскую преступность в советском обществе»²⁷. Программа под названием «Русская и советская история и история коммунизма» предусматривает поиски «доказательств» тождественности политики и идеологии царской России и СССР, исследование троцкизма и деятельности других антипартийных группировок, смакование последствий культа личности, воспевание и возведение в ранг общественной силы предателей типа Власова. Тематика программы «Советская государственная система и политика» во многом связана с предыдущей, но сюда следует добавить изучение «советской бюрократии», «партийной диктатуры», «разногласий» между странами социалистического лагеря и прочих привлекательных для боссов сюжетов. «Гвоздем» программы «Сравнительные исследования» является проведение параллелей между коммунизмом и фашизмом (!)²⁸.

²⁴ «Russian Research Center, Harvard University. Ten Years Report and Current Projects 1948—1958», Cambridge, Mass., 1958, p. 1.

²⁵ Там же.

²⁶ В. Мооре. Soviet Politics — Dilemma of Power, Cambridge, Mass., 1950, p. II.

²⁷ Вот названия некоторых статей, написанных в рамках этой программы: «Разговор как средство общения в Советском Союзе» («Public Opinion Quarterly», Fall 1953); «Олег — представитель советской золотой молодежи» («The Journal of Abnormal and Social Psychology», July 1955); «Алкоголизм и детская преступность в советском обществе» («Social Problems», October 1955).

²⁸ «Russian Research Center», p. 58.

Сотрудники Гарварда в порыве благодарности выражают горячую признательность Корпорации «не только за возможность проводить исследования в благоприятных условиях, но и за моральную поддержку и стимулирование умственной деятельности»²⁹. Пользуясь последним термином, придется неизбежно признать, что «стимулирование» шло в одном — антисоветском направлении.

Давление крупных монополий — одна сторона, характеризующая «независимую» буржуазную науку. Другая сторона — ее прямая зависимость от буржуазного государства. Это еще один важнейший фактор, неизбежно определяющий отбор исследуемых в Гарварде тем, а также выбор лиц, которые разрабатывают эти темы. Послужной список руководящего состава Гарварда говорит сам за себя³⁰.

Жизненный путь бывшего директора центра Уильяма Лэнгера тесным образом связан не только с Гарвардским университетом, где он получил звание бакалавра искусств (1915), магистра искусств (1920), доктора философии (1923) и почетного доктора юриспруденции (1945), но и с военными кругами и правительственными органами США. В 1941—1942 гг. он работал в системе военной информации, в 1942—1945 гг. возглавлял аналитико-исследовательский отдел Управления стратегических служб, в 1946 г. был специальным ассистентом государственного секретаря. Недавно Кеннеди назначил Лэнгера членом Президентского Консультативного совета — какого бы вы думали? Совета, задача которого — консультировать президента «в отношении целей и осуществления разведывательной (!) деятельности за границей и близкой к ней деятельности Соединенных Штатов, необходимой в интересах внешней политики, национальной обороны и безопасности».

Один из наиболее влиятельных в Гарвардском центре ученых, автор клеветнических пасквилей «Как управляется Россия» и «Смоленск при Советской власти», профессор теории государства и права Мерл Фейнсод также получил образование и ученые степени (магистра в 1931 г. и доктора философии в 1932 г.) в Гарварде. В 1936 г. был членом президентской комиссии по административному управлению. Он является одним из опекунов такого совершенно «аполитичного» учреждения, как Восточноевропейский фонд, финансирующий «исследовательскую», а точнее подрывную, работу против стран социализма.

Профессор Маршалл Д. Шульман, как и Фейнсод, — член исполнительного комитета Центра. В 1940—1942 гг. он был советником вице-президента по вопросам «демократии», в 1942—1946 гг. прошел путь от рядового до капитана ВВС США, специализируясь по проблематике ведения «психологической войны»; в 1950—1953 гг. был специальным ассистентом Д. Ачесона, занимавшего в то время пост государственного секретаря США.

Профессор теории государства и права, один из столпов, специализирующихся в области так называемого «тоталитаризма», немец по происхождению Карл Фридрих сотрудничает в Гарвардском университете с 1926 г. В 1943—1946 гг. был директором высшей школы, готовившей кадры для американского административного аппарата за границей, в 1946—1949 гг. состоял референтом по политическим вопросам при военной администрации США.

Красноречивы и биографии экономистов в правлении Гарвардского центра. Профессор Абрам Бергсон работал в различных учреждениях федерального правительства с 1942 по 1946 г. В течение двух лет Бергсон возглавлял в Управлении стратегических служб подотдел, ведающий вопросами советской экономики, а в 1945 г. приезжал на Московскую

²⁹ В. Мооге. Указ. соч., стр. II.

³⁰ Биографические данные о сотрудниках Гарвардского центра взяты из разных лет издания «Who is who in America», а также рекомендаций издательств (преимущественно на суперобложках их работ).

конференцию по репарациям в качестве члена американской делегации. О связях Бергсона с монополиями говорит уже то, что он является консультантом Корпорации Рэнд. Профессор Александр Гершенкрон в 1944—1948 гг. также работал в правительственных органах США; с 1946 г. руководил иностранным отделом в правительственной Федеральной системе исследования (Federal Research System).

Не менее поучительны биографии тех, кто работал в Гарварде на неполной ставке. За десять лет, с 1948 по 1957 г., в Центре было проведено 157 семинаров, руководимых десятками ученых. В Гарвард приглашались виднейшие «эксперты» по СССР и коммунизму из других научных организаций США и даже из других стран. Среди них следует упомянуть Ф. Мосли, Б. Самнера, К. Кдукхона, В. Гуриана, Н. Ясного, Б. Вулфа, Д. Граника, М. Слонима, И. Берлинера, Р. Н. Керью Ханта. Из Англии специально были выписаны в 1948—1949 гг. Э. Карр, в те же годы, а также в 1954—1955 гг. М. Белов; в 1956—1957 гг. А. Ноув и Х. Сетон-Уотсон; из Франции — в 1955—1956 гг. А. Шамбр; из Западной Германии — в 1950—1951 гг. Ф. Боркенау. Кроме того, привлекались искушенные буржуазные журналисты-международники с богатым опытом извращения советской действительности, как, например, Гарри Шварц и Генри Шапиро. Рассказать обо всех вышеупомянутых лицах мы не имеем возможности; поэтому остановимся на некоторых из них.

Имя одного из виднейших американских «политиков среди историков» и «историков среди политиков» Филиппа Мосли ассоциируется скорее с Русским институтом при Колумбийском университете, директором которого он был с 1951 по 1955 г., чем с Гарвардским центром. Однако Мосли, получивший звания бакалавра и доктора философских наук в Гарварде, поддерживал постоянную связь с центром в течение всей его истории. Мосли работал в госдепартаменте США большую часть военных лет и после войны, будучи сначала помощником руководителя отдела политических исследований, а затем главой отдела районного изучения. Был советником делегаций США на Московской конференции 1943 г., заседаниях Европейской консультативной комиссии в 1944—1945 гг. в Лондоне, Потсдамской конференции и Лондонской и Парижской сессиях Совета министров иностранных дел в 1945—1946 гг. С 1952 г. президент Восточноевропейского фонда.

Профессор политических наук Иэльского университета Фредерик Баргурн вел в Гарвардском центре семинары на тему «Америка в представлении советских людей». Оснований считать себя авторитетом в этом вопросе у Баргурна более чем достаточно: с 1942 по 1947 г. он служил пресс-атташе посольства США в Москве, с 1949 по 1951 г., работая в системе американского МИД в Германии, интервьюировал перемещенных лиц (прекрасный способ ознакомиться с мнением советских людей об Америке!).

Бертрам Вулф — еще один эксперт по «тоталитаризму» — вел в Гарвардском центре семинары по теме «Марксизм и сталинизм». Выпуская в свет одну из его книг, издательство так представило его читателям: «Ни один эксперт по Советам не знает их лучше — в том числе и с изнанки, — чем Бертрам Вулф». Очевидно, издательство хотело придать вес тому факту, что Вулф трижды был в СССР. Однако знакомство с его работами («Шесть ключей к советской власти», «Трое, сделавшие революцию», и др.) убеждает в том, что свое представление об «изнанке» он почерпнул не в советской действительности, а во встречах с Керенским, Черновым, Троцким. В годы войны Вулф был тесно связан с госдепартаментом, где он возглавлял отдел идеологической консультации такой «независимой» радиостанции, как «Голос Америки».

Правда, нам могут возразить, что хотя руководство и ведущие кадры Гарвардского центра прямо связаны с госдепартаментом и разведкой, этого нельзя сказать про весь его выросший за последние годы рядовой

состав. Но прекрасно известно — причем из авторитетных американских источников, — кто и как воспитывал студентов в учебных заведениях США, особенно за последние десять — пятнадцать лет. Вот что пишет американский философ Моррис Коэн: «На студентов колледжа обычно смотрят как на детей, которых бережно водят за ручку взрослые ортодоксы, невосприимчивые к радикальным идеям... Свобода самостоятельных умозаключений, допускаемая теоретически, на практике превращается в свободу находить новые доказательства уже принятой ортодоксии... Большинство считает само собой разумеющимся, что одаренному человеку следует преграждать путь к науке, если он проявил политическую неблагонадежность или не ортодоксален в богословских вопросах»³¹. А вот как складывалась судьба тех, за кем замечали эту «политическую неблагонадежность»: «Те, кто были признаны «нелояльными», фактически превратились в париев, — свидетельствует член Верховного суда Уильям Дуглас. — ...Люди, имеющие, например, ученую степень доктора философии, становились подсобными рабочими на железной дороге... Количество пострадавших исчислялось тысячами. Но причиненный ущерб этим не ограничивается. Судьба этих людей оказала влияние на все впечатлительные умы. Молодое поколение поняло, что очень опасно не быть «правоверным» и не придерживаться тех стандартных взглядов, которые постепенно вырабатывались»³².

Однако, как ни показательны рассмотренные выше факты, лучше всего о «независимости» ученых Гарварда свидетельствуют их труды. Рассмотрим поэтому хотя бы некоторые основополагающие работы, которые Гарвардский центр по изучению России опубликовал за тринадцать лет своего существования.

ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ ИСТОРИКОВ ГАРВАРДА И ЕГО УЧЕНИКИ

Историография, как известно, формируется под влиянием тех или иных идейных течений, опирается на определенную сумму накопленных теоретических знаний. В школе историков Гарварда процесс этого воздействия идеологии на историю, преемственность старых и новых теорий были, так сказать, персонафицированы в лице самого создателя школы — М. Карповича³³. Его деятельность, по единодушному признанию биографов, определила судьбы и мысли «многих сотен его друзей и учеников и оставила глубокий след на многих научных и культурных проектах непреходящей ценности».

В молодости Карпович участвовал в политической борьбе в России, проделав характерную для буржуазной веховской интеллигенции «эволюцию» ренегата (сам он впоследствии признавался, что именно сборник «Вехи» «определил его взгляд на жизнь»). В годы первой русской революции Карпович был активным эсером и некоторое время провел в царской тюрьме, — он, как сообщают биографы, был тогда еще молод, «тоталитарная революция» не воспринималась им как угроза. Однако такое «восприятие» не заставило себя долго ждать: революцию 1917 г. Карпович встречает активным кадетом, участвуя в безуспешных попытках «удержать Милюкова у власти».

В середине 1917 г. судьба, а точнее верная служба Карповича кадетизму, забрасывает его в Америку — он назначается советником посольства Временного правительства в США. Это посольство функционировало в Вашингтоне еще не один год после того, как правительство, кото-

³¹ М. Коэн. Американская мысль. Критический обзор. М., 1958, стр. 38—39, 41—42.

³² У. Дуглас. Америке брошен вызов. Цит. по журналу «За рубежом», 1961, № 10, стр. 22.

³³ М. М. Карпович умер в 1959 г. Нами использованы материалы некрологов в «The Russian Review», 1960, № 1.

рое оно представляло, было свергнуто народом,— официальная Америка в те годы проявляла присущую ей «дальновидность», оберегая обломки реакционных режимов если не на их «родной» почве, то хотя бы на «свободной» американской земле. Остался в Америке и М. Карпович — «пождать и посмотреть, что получится» («с тех пор я жду и смотрю», — говорил он впоследствии своим ученикам). Ожидание, правда, несколько затянулось, и поэтому уже в 20-е годы советник посольства Временного правительства начал подыскивать более постоянную работу. В 1927 г. Карпович возглавил изучение русской истории в Гарварде, бесценно пробовав на этом посту около тридцати лет.

Политические убеждения и симпатии Карповича, «пережившего крах своих надежд в отношении возлюбленной России», не могли не окрасить в соответствующие тона весь его лекционный курс, который вполне можно было бы озаглавить «Утраченные грезы». Это был проникнутый печалью рассказ о несбывшихся мечтах кадетизма реформировать самодержавную Россию по прусско-юнкерскому образцу.

Биографы Карповича характеризуют его убеждения термином «западничество». Раскрывая значение этой несколько абстрактной формулы, следует уточнить, что Карпович желал, чтобы в его «возлюбленной» России установился западный буржуазный строй. Но те же биографы неизменно добавляют, что его западничество было «умеренным», и в этом есть свой глубокий смысл. Михаил Михайлович страстно желал, чтобы буржуазное реформирование России было произведено сверху — совместными усилиями самодержавия и либералов и притом без революционных катаклизмов и бурь.

Подобная концепция заставляла Карповича искать прежде всего «западнические» силы в прошлом России, уделять преимущественное внимание тем «вехам» в истории страны, которые знаменовали ее движение по желанному для него пути.

Карповича интересовала прежде всего деятельность Петра I, положившего начало процессу «вестернизации» России, а также царствование Екатерины II, при котором началось заимствование не только «западной техники и западного образа жизни», но и западных (разумеется, либеральных) идей. Особенно красноречивым становится Карпович, подходя к «прекрасному старту либерализма в России» — правлению Александра I, открывшего эру «административных реформ» и почти создавшего «отрегулированную монархию», которая опиралась на «твердо установленный закон». Особенно его умиляло, рассказывают биографы, отсутствие в оппозиции начала XIX в. того «партийного ожесточения и идеологического фанатизма», которые он так не любил³⁴. Переходя к идейной борьбе 40—60-х годов («известной дихотомии отца и детей»), М. М. Карпович, естественно, сочувствовал больше уравновешенным отцам, чем «нетерпимым» детям, да и среди отцов его привлекали прежде всего «умеренные западники». Его пугала «резкость и узорность» воззрений Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Он был за Герцена, против Бакунина, но даже Герцен был, по его мнению, «как-то безрассуден», и можно было много сказать в пользу таких людей, как Кавелин и Чичерин.

Совершенно естественно, что следующим объектом умиления Карповича была эра «великих реформ». Как указывает «The Russian Review», «он всегда защищал репутацию правительства Александра II как против радикальных, так и против либеральных атак, иногда даже осторожно указывая своим американским слушателям, что в то же самое десятилетие, когда демократические Соединенные Штаты вели гражданскую

³⁴ «The Russian Review», 1960, № 1; см. также М. Карпович. Imperial Russia, 1801—1917, N. Y., 1932, p. 8—9, 13—15.

войну за освобождение 2 млн. рабов, самодержавная Россия простым царским указом освободила 20 миллионов крепостных».

Карпович так и не объяснял толком своим ученикам, почему эти 20 миллионов «освобожденных» крестьян еще добрых полсотни лет вели против своих «благодетелей» настоящую войну³⁵. Зато он с энтузиазмом описывал «заключительный» этап русской истории, именуемый «конституционным экспериментом 1906—1917 гг.», который, по его мнению, представлял «основной шанс в истории России для реализации либеральных общечеловеческих ценностей». «Политический порядок, установленный в России после 1905 г., часто описывали как «лже-конституционализм», а Думу третировали как «дымовую завесу самодержавия» или «послушное орудие в руках правительства», — признавался Карпович. — Однако для историка период этот представляется в несколько ином свете. Хотя в России не было парламента, здесь несомненно был конституционный режим. И хотя царь сохранял титул самодержца, это было всего лишь словесной уступкой (!) многовековой традиции и блестящим анахронизмом. В действительности его власть не была уже абсолютной, ибо он был ограничен фундаментальными законами, которые предусматривали обязательное согласие Думы на его законодательные акты. Точнее, русское самодержавие прекратило свое существование вместе с опубликованием манифеста от 17 октября 1905 г.»³⁶.

Впрочем, энтузиазм Карповича в трактовке и этого последнего периода не был чрезмерным: предстояло описать такие неприятные вещи, как переворот 3 июня, крах столыпинской «реформы», «пренебрежительное отношение» к Думе со стороны царских министров и самого царя, горькие плоды «медового месяца» сотрудничества кадетов с царем во время войны. Но главная неприятность была впереди — надо было объяснить американским слушателям, почему столь успешно осуществлявшаяся на протяжении более века «реализация» либеральных ценностей при самодержавном режиме так и не была осуществлена и все завершилось «катастрофой для России» (как Карпович именовал Октябрь). Надо признать, что его теоретическое мышление обтекало этот последний камень преткновения без особых затруднений: все достаточно просто объяснялось, с одной стороны, «круговоротом реакции и революции», а с другой — всеспасающей «случайностью», которая повредила кадетам и помогла большевикам.

Русские самодержцы, пояснял свою идею Карпович, не шли достаточно далеко в своих реформах. Сделай они хотя бы скромные попытки привлечь народ к управлению страной, история России «могла бы пойти иначе». Но ответственность не в меньшей мере лежала и на радикальной интеллигенции³⁷. Если цари «давали слишком мало», то интеллигенты требовали «слишком много». Царям недоставало либо ума — для осознания важности и сущности реформ, либо воли — для их проведения. «Интеллигенты» же были чрезвычайно идеалистически настроены, а поскольку бездумие и безволие правительства закрывало им все пути «к непосредственной работе среди народа», они прониклись «духом разрушения» и «нигилизма» и не развили в себе «ту способность к компромиссу, которая приобретает только в практических делах».

В истории России, завершал свои объяснения Карпович, «мы видим, с одной стороны, бескомпромиссное и упрямое самодержавие, а с дру-

³⁵ Упомянув о «пореформенном аграрном кризисе», М. Карпович призывал «не переоценивать недостаточности крестьянских наделов и чрезмерности выкупных платежей», сводя все дело к «аграрному перенаселению» страны. См. М. Карпович. Указ. соч., стр. 60.

³⁶ М. Карпович. Указ. соч., стр. 74.

³⁷ Словом «интеллигенция» Карпович, по его собственному признанию, обозначал «политически настроенную часть образованного класса, находящегося в оппозиции к правительству». М. Карпович. Указ. соч., стр. 42 (прим.).

гой — таких же бескомпромиссных и упрямых революционеров. Меж этих двух огней оказывались сторонники среднего курса, которые — в то время как радикалы бросали бомбы, на что правительство отвечало казнями, — ограничивались выражением своих требований и предложением умеренных советов».

Правда, некоторое «просветление» все же наступило в эпоху «конституционного эксперимента 1906—1917 гг.», когда кадеты почти уговорили царя «одолеть революцию путем реформ», но тут помешала «не во время наступившая война». Может быть, ни в каком другом случае, добавлял Карпович, война не была «более несвоевременна, чем для России в 1914 г.». Война, по его уверениям, была совершенно «не нужна» ни самодержавию, ни кадетам, но зато была как раз «нужна» русским большевикам — наследникам «нетерпимой» интеллигенции XIX в. «Война делала революцию чрезвычайно вероятной, человеческая глупость сделала ее неизбежной», — этими словами Карпович заканчивал свой учительный курс³⁸.

Если говорить о реальной истории самодержавной России, то она совершенно неопровержимо доказывает одно: быстроту и формы политического и экономического обновления страны определяли прежде всего борьба классов, реальные результаты этой борьбы. В исторической «концепции» Карповича все выглядело как раз наоборот: буржуазному реформированию России помешала, оказывается... классовая борьба. Но, впрочем, часть такого открытия принадлежала не только ему одному — непониманием классовой основы исторических преобразований России страдал весь русский либерализм. Либералы, писал Ленин еще в 1913 г., любят говорить о «европеизации России», они хотят «европейской конституции». «Но конституции, установившиеся в разных странах Европы, явились результатом долгой и тяжелой классовой борьбы между феодализмом и абсолютизмом — с одной стороны, буржуазией, крестьянами и рабочими — с другой... Либеральная программа и либеральная тактика сводится вот к чему: пусть сложится у нас европейский уклад без той тяжелой борьбы, которая создала его в Европе!»³⁹.

«Концепция» Карповича, как нетрудно догадаться, была великолепным воплощением этой кадетской мудрости. И когда ученики Карповича писали в своем некрологе, что его умеренное западничество или либерализм «оказались мало эффективными для изменения русского общества, но прекрасно служат для понимания его», то они были совершенно правы в первом случае, но явно льстили покойнику во втором. Если в реальной жизни политические догмы кадетизма были причиной его полного практического бессилия, то перенесение этих догм в историческую науку обусловило полное бессилие что-либо понять или объяснить.

Сравнивая концепцию Карповича с направлением исследовательской деятельности Гарвардского центра в 40—50-е годы, мы можем легко установить следующий факт: подавляющее количество работ по истории России эпохи капитализма посвящалось как раз намеченным Карповичем «ключевым» проблемам. Дело здесь не только в том, что Карпович лично в весьма существенной мере определял тематику гарвардских и иных американских проектов и работ. Дело в том, что концепция Карповича была сама по себе типичной буржуазной концепцией и именно в силу этого основные пункты ее разрабатывались в последние десятилетия с одинаковым усердием и в Мюнхене, и в Гарварде, и в Оксфорде.

В кратком очерке не представляется возможным разобрать всю гарвардскую литературу — она исчисляется десятками монографий и сотнями статей. Но общее представление о ней можно прекрасно со-

³⁸ М. Карпович. Указ. соч., стр. 80, 95. См. также М. Карпович. A Lecture on Russian History, Hague, 1958, p. 24—25, 26, 38—39.

³⁹ В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 526—527.

ставить хотя бы по IV тому «Славянских исследований Гарварда», вышедшему в 1957 г. под названием «Русская политика и мысль» в связи со знаменательной датой — тридцатилетием деятельности в Гарварде Михаила Карповича⁴⁰.

Из двадцати трех статей сборника по истории дореволюционной России нет ни одной, посвященной проблемам экономического развития страны, крепостного права, положения крестьянства, его борьбы за землю и волю. Нет ни одной статьи, содержащей анализ особенностей развития капитализма в России, русского рабочего движения. Короче говоря, в сборнике нет ни одного исследования социально-экономических и классовых основ «русской политики и мысли»: изложение взглядов представителей разных политических направлений в России считается вполне достаточным для объяснения всех исторических событий и любых идей.

В центре внимания сборника стоят — в точном соответствии с концепцией учителя — представители «западнической» мысли и политики в истории России: Карамзин, причисленные под либералов Радищев и Герцен, «легальные» (либеральные) народники, «легальные марксисты», экономисты, кадеты и Керенский⁴¹. Задача авторов проста — прежде всего выявить западные источники, а также разрекламировать «уравновешенность», «умеренность» и, главное, «перспективность» для России данных либеральных программ.

Следующий объект исследования — царизм и бюрократия, к которым апеллировал русский либерализм⁴². Цель этой серии та же, что и работ Карповича, — требуется выяснить, почему самодержавие так и не стало орудием «реформирования политической и социальной структуры империи», как того жаждал русский либерализм. Самым достойным учеником Карповича оказался, безусловно, Марк Рэф. Досконально исследовав роль государства как «ведущей силы морального и духовного прогресса», он установил, что монархи и их министры тратили на реформирование «все свое время и всю энергию», и не удалось оно только по одной причине — «правительственный персонал не дорос (!) до этих задач»: его характер «не позволил привести политическую машину в соответствие с интеллектуальной, социальной и экономической эволюцией страны»⁴³. Итак, сумей цари подобрать «администраторов» получше — не было бы ни крестьянских восстаний, ни стачек и забастовок, ни революций, ни тех «катастроф», которыми явились 1905 или 1917 годы...

Последняя по месту, но далеко не по значению группа работ — статьи о русской интеллигенции («нигилистах» и «экстремистах») вообще, русских большевиках в особенности⁴⁴. Методология этих работ — точный слепок с методологии учителя их авторов. Проиллюстрируем наш тезис

⁴⁰ «Russian Thought and Politics», Harvard Slavic Studies, v. IV, Cambridge, Mass., 1957. О представительности сборника говорит хотя бы следующий факт: в нем участвуют 26 авторов — в большинстве своем воспитанников Гарварда, специализирующихся в области дооктябрьского периода русской истории и работающих в разных университетах США. Значительная часть публикуемых статей легла в основу монографий, которые издал или запланировал к изданию Гарвардский центр.

⁴¹ См. Р. Пайпс. Взгляды Карамзина на монархию; Р. Талер. Радищев, Британия и Америка; А. Мендель. Легальное народничество и его экономическая программа; Г. Фишер. Русская интеллигенция и либерализм; К. Смит. Милюков и русский национальный вопрос; Р. Браудер. Вновь у Керенского, и др.

⁴² См. М. Рэф. Русское самодержавие и его чиновники; Р. Мак-Мастер. В русской манере. Мысль как побудитель действия; С. Жижневский. Милютин и польский вопрос. К этим статьям примыкают в какой-то мере следующие работы: С. Монас. Шишков, Булгарин и русская цензура; Н. Рязановский. Погодин и Шевырев в русской интеллектуальной истории.

⁴³ «Russian Thought and Politics», р. 90—91. Далее ссылки на страницы этого издания даются в тексте.

⁴⁴ См. Ф. Баргурн. Нигилизм, утопия и реализм во взглядах Писарева; Р. Даниельс. Ленин и русская революционная традиция; С. Пейдж. Ленин в 1917 г. (от апреля к июлю).

хотя бы на примере Баргурна. Перед нами та же концепция «круговорота реакции и революции»: проводимые сверху реформы «были обычно недостаточны для того, чтобы разрешить проблемы, которые их вызывали, но были более чем достаточны для того, чтобы стимулировать чрезмерные аппетиты радикалов и революционеров». Правительство в свою очередь способствовало нарастанию этой чрезмерной требовательности двойственным отношением к революционерам; оно «как-то странно колебалось между жестокостью и мягкостью по отношению к ним». Точно так же, как у Карповича решаетея «дихотомия отцы и дети»: первые, «интеллигенты» 20—40-х годов, — «более чувствительны, терпимы и лучше образованы», вторые «одержимы идеей разрушения», «нигилизмом». Как и у Карповича, ясно видна прикладная цель подобной характеристики революционеров 60—70-х годов: к «экстремизму» и «нигилизму» требуется во что бы то ни стало «привязать» большевизм. «Интересно отметить, — пишет Баргурн, — что как в России, так и на Западе слово «нигилист» приобрело подспудное значение, подобное тому, которое имело в обиходе слово «большевик» после 1917 г. Нигилист был революционером, занятым бомбометанием, которого считали совершенно лишненным позитивных идей, знаний или морали» (стр. 226—227 и др.).

Ученики Карповича заимствуют у него и главный вывод: «история России могла бы пойти иначе»,... если бы был немножко поумнее русский либерализм, поуступчивее цари, поискуснее бюрократы, если бы не было «случайностей» вроде 1 марта 1881 г. или войны 1914—1918 гг. «Если бы его (Милюкова.— Авт.) дело восторжествовало в России между 1905 и 1917 гг., нечто подобное британскому содружеству наций заменило бы царскую тюрьму народов», — заявляет один из учеников «Если бы умеренные поняли, как извлечь выгоду из своего положения, июльские дни (имеется в виду возможность ареста Ленина в июле 1917 г.— Авт.) могли бы знаменовать не только высший пункт, но и конец ленинской карьеры», — вторит ему другой. «Можно вполне представить себе, что без большевистской революции Россия, возможно через поколение, уподобилась бы в культурном и политическом отношении Англии», заключает третий (стр. 298, 419, 445 и др.). В этом «если бы да кабы» — чисто карповичевская тоска по несбывшемуся и чисто карповичевская глубина...

Мы говорили в начале нашей статьи о том, какую роль в направлении исследований Гарварда играют бизнес и политика. Теперь мы можем добавить вывод о полной подчиненности работы Гарвардской школы догмам русского либерализма вообще, кадетско-веховской историографии в особенности.

Но сказать, что американские историки были простым слепком со своего учителя, — значило бы явно недооценить способности его учеников. «Американские историки России были более чем счастливы иметь Михаила Михайловича в качестве одного из своих патронов, — писал в некрологе его ученик М. Малиа. — Они пойдут дальше его, и он первый желал им того, но они едва ли пойдут против него»⁴⁵.

Ученики Карповича действительно пошли в некоторых отношениях гораздо дальше своего наставника еще при его жизни. Понять это можно, заглянув хотя бы в другой основополагающий гарвардский труд.

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» ДВУХ РОССИЙ ИЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ АНТИСОВЕТСКИХ БРЕДНЕЙ?

«Преемственность и сдвиги в русской и советской общественной мысли» — так формулировалась тема конференции, созванной в Арден-Хаусе (США) в марте 1954 г., так был озаглавлен и сборник материа-

⁴⁵ «The Russian Review» 1960, № 1, p. 70—71.

лов этой конференции, вышедший в Гарварде год спустя⁴⁶. Суперобложка этого труда, скромно названного «наиболее ценным вкладом в изучение русской и советской интеллектуальной истории», встречает читателя вопросом: «Насколько решительно Советская Россия порвала со своим прошлым и в какой степени она до сих пор представляет страну, которую узнали бы цари?». У человека, не знакомого с характером гарвардской продукции, недоумение вызывают и тема сборника, и вопрос издателей. Какой разрыв с прошлым царской России может быть более решительным, нежели социалистическая революция? О какой преемственности в советской общественной мысли по сравнению с официальной идеологией старой России можно говорить, когда речь идет о мировоззрении антагонистических классов?

Однако недоумение исчезает, как только мы вспомним о традициях русской белоэмигрантской «исторической школы», которые в данном случае продолжает Гарвардский центр. Один из патронов Гарвардского учебного мира Карпович заканчивал свои лекции на 1917 г.—тяжелые личные переживания мешали ему продолжать курс⁴⁷. Но заказчики, «стимулировавшие умственную деятельность» Гарвардского центра, требовали не столько светлых воспоминаний о «золотых» временах эпохи Романовых, сколько «добротной» клеветы на советский строй. И здесь на сцену выступал другой «духовный отец» — Николай Бердяев, давно уже признанный на Западе «столпом» антисоветской пропаганды. Хотя сам он и не читал лекций в Гарварде, зато студенты усиленно читали его «труды» («Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская идея», «Смысл истории» и т. д. и т. п.).

И Бердяев, и Карпович были представителями веховских историографических концепций, первый в еще большей степени, чем второй. Карпович только следовал известному сборнику «Вехи», Бердяев сам его создавал. Суть веховства давно известна и предельно ясна: она была синтезирована в известном лозунге: «лучше реакция, чем революция» и состояла в бешеной борьбе с русской демократией всех оттенков, борьбе, прикрытой словесным блудом об освобождении личности, защите ее от «революционаризма», «утилитаризма», «народопоклонства», «народнического мракобесия» и прочих «интеллигентских» зол.

События 1917—1920 гг. доказали, что на веховских позициях стоит вся русская контрреволюционная «либеральная» буржуазия — ее союз с монархической белогарвардской реакцией доказывает это лучше всяких слов. Поражение белогарвардейщины вызвало в среде веховской — теперь уже эмигрантской — буржуазии разложение и распад. Среди ее идеологов началась повальная «смена вех». Немногие — такие, как Струве, Франк, остались на старых позициях, большинство попыталось хотя бы задним числом «отмежеваться» от монархической белогарвардской реакции, приступить к выработке «новых» программ («новая тактика» Милюкова, «новое христианство» Бердяева, «сменовеховство» Устрялова и т. п.). Процесс этот не мог не отразиться и на послереволюционной буржуазной историографии; если за сорок лет эмиграции неповоротливый Карпович так ничему не научился, то гибкий Бердяев совершил резкий поворот. Заново переписывая в 20—30-е годы русскую историю, он не только отмежевался от дискредитировавшего себя самодержавия, но заодно определил ему в наследники русских большевиков. Новая концепция получила серьезное «теоретическое» обоснование: со-

⁴⁶ «Continuity and Change in Russian and Soviet Thought». Ed. by Ernest J. Simmons. Cambridge, Mass., 1955. (Далее ссылки на страницы этого издания см. в тексте). На конференции собрался «цвет» американского «советоведения» — число ее участников (41 человек), а главное, качественный состав (в конференции приняли участие Симмонс, Карпович, Кон, Мосли и др.) говорят сами за себя.

⁴⁷ «The Russian Review», 1960, № 1, p. 64—65.

гласно неотвратимой «диалектике экстремизма» революционная оппозиция самодержавию должна была неизбежно принять облик своего поверженного зрага, «господствовать над всей жизнью народа, не только над телом, но и над душой народа, в согласии с традициями Иоанна Грозного и царской власти»⁴⁸.

Итак, большевизму были навязаны худшие самодержавные черты: «тотальность», «стремление к крайности», «бюрократизм» и даже... славянофильский «мессианизм». «Произошло удивительное превращение. Марксизм столь нерусского происхождения и нерусского характера приобретает русский стиль, стиль восточный, даже приближающийся к славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным коммунизмом. И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов и Достоевского — «ex Oriente lux». Из Москвы, из Кремля исходит свет, который должен просветить буржуазную тьму Запада»⁴⁹.

Бердяевские «концепции» легли в основу антисоветской пропаганды в последние 20—30 лет. Его установка открывала поистине безбрежные просторы для клеветнических параллелей и вполне соответствовала принятому в буржуазной идеологии делению мира на «свободный» Запад и «авторитарный» Восток.

Насколько важен и насущен для буржуазной идеологии этот аспект, показывает уже то, что в последнее десятилетие в Соединенных Штатах сформировалась целая отрасль исторической науки, специально занимающаяся сравнительным анализом советской действительности и жизни «матушки Руси». «Нам сейчас необходимо... расширительное применение сравнительного метода в детальном изучении коммунистической и советской политики», — читаем в одном из ведущих американских научно-политических журналов. — «Элементы преемственности и сдвигов должны стать неотъемлемой частью изучения русской системы управления»⁵⁰. Можно добавить, что слово «сдвиги» здесь служит фиговым листком — главное для буржуазных ученых найти «элементы преемственности». А поскольку непреложное требование политического заказа — раскопать этих элементов как можно больше, «преемственность» в авральном порядке изыскивается буквально во всех проблемах: исторических, экономических и философских.

Именно этой задачей и вдохновлялись ученые мужи, собравшиеся на конференцию в Арден-Хаусе. Волновавшую их проблему очертил Э. Симмонс. Заметив, что сами советские люди считают Октябрьскую революцию полным разрывом с прошлым, и процитировав строки Маяковского:

«Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой,
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!»

Симмонс продолжал: «Была ли «старая кляча истории» просто заменена на старой дороге сверкающим шестицилиндровым советским автомобилем, или же этот советский автомобиль едет по дороге, совершенно неизвестной в прошлой русской истории, навстречу грядущей судьбе, о когорой и не мечтали в России при царях?» (стр. 13).

⁴⁸ Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма, Париж, 1955, стр. 116.

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ «The Journal of Politics», May 1960, p. 303, 305.

Решение этой проблемы, свидетельствует тот же Симмонс, оказалось «делом далеко нелегким». Еще бы. Советские люди в 1917 г. порвали с наследием царской России и твердо выбрали путь к коммунизму. С жизнью спорить трудно, и поэтому некоторые участники конференции в Арден-Хаусе предпочитали высказываться строго по своим темам, не вдаваясь в скользкие аналогии между прошлым и настоящим. Они «избегали,— горько жаловался М. Фейнсод,— вопросов преемственности и сдвигов, как чумы» (стр. 172). Однако задавали тон дискуссии и определяли ее политическое лицо наиболее ярые противники СССР и социалистического строя. Оседлав старую бердяевскую клячу, они потащились на ней туда, куда ведет дорога антикоммунизма,— в болото извращений и клеветы.

Благодаря искусству устроителей проблема «преемственности» была успешно «решена», хотя и довольно своеобразным способом. Прежде всего доклады, зачастую не имеющие друг к другу никакого отношения, «связали» между собой искусным чередованием выступающих. Так, на симпозиуме «Реализм и утопия в русской экономической мысли» рядом стояли темы «Проблема экономического развития в русской интеллектуальной истории XIX в.» (А. Гершенкрон) и «Взгляды Сталина на развитие советской экономики» (А. Эрлих). На симпозиуме «Самодержавие и демократия» — за докладом «Победоносцев о функциях русского правительства» (Р. Бирнс) шли доклады Т. Хэммонда и А. Уллама о мифическом большевистском «авторитаризме» и «тоталитаризме». В подгруппе, занятой темой «Коллективизм и индивидуализм», было не менее броское сочетание выступлений: «Хомяков о соборности» (Н. Рязановский), «Герцен и крестьянская община» (М. Малиа), «Сталин и колхоз» (Дж. Бергамини), «Концепция коллективизма Вышинского» (Ю. Т. Тоустер). В четвертой подгруппе, занимавшейся туманно сформулированной проблемой «Рационализм и иррационализм», шла рука об руку выступления на темы «Разум и вера в философии Соловьева» (Г. Флоровский) и «Партийность и знание» (В. Гуриан), «Дарвинизм и русская ортодоксальная церковь» (Г. Клайн) и «Кризис в советской биологии» (Ф. Добжанский). В подгруппе по проблеме «Литература, государство и общество» сочетались доклады: «Свобода и преследования в дореволюционной русской литературе» (Л. Стилман), «Социальные и эстетические критерии в русской советской критике» (В. Эрлих) и «Основные методы Коммунистической партии в теории советского литературного контроля» (Р. Ханкин). Наконец, на последнем симпозиуме, посвященном «русскому мессианизму», достопочтенный Ганс Кон выступал с докладом «О национальном мессианизме Достоевского и Данилевского», молодой, но многообещающий К. Маккензи рассказал «О мессианских концепциях в III Интернационале», а их коллега Ф. Баргурн осветил такую «насущную проблему», как «Великорусский мессианизм в послевоенной советской идеологии».

Задача «увязывания» выводов отдельных докладов была возложена на руководителей подгрупп, которым предоставлялось заключительное слово. На симпозиуме «Реализм и утопия в русской экономической мысли» А. Гершенкрон заявил, что «во многих отношениях Сталин... представляет собой возврат к Посошкову!» (стр. 101). Подводя итоги симпозиума «Рационализм и иррационализм», Д. Робинсон констатировал, что «дореволюционная Россия была несколько незрелой в интеллектуальном отношении» и что это «помогает понять как незрелость большевистской идеологии, так и ее успех в приобретении некоторой поддержки в Советском Союзе». М. Фейнсод, признав, что манипуляция идеологическими темами является «тонким искусством» и иногда «может привести скорее к извращению правды, чем к ее укреплению», тем не менее смог определенно установить, что «тотальная» большевистская революция вовсе не означала разрыва с прошлым (стр. 178).

Симмонс в предисловии к сборнику обобщил плоды деятельности симпозиума по теме «Коллективизм и индивидуализм»: «Теологическая доктрина соборности Хомякова... ясно отражается в советском понимании коллективности, в котором на место соборности поставлено государство», а Советская власть имеет определенные корни в «русском самодержавном режиме» (стр. 4).

В массе клеветнических параллелей особенно выделялась одна — «русский мессианизм». Она сводится, как ее сформулировали Кон и Симмонс, буквально к следующему: Россия Данилевского и Достоевского собиралась духовно обновить «загнивающий» западный мир; тем же занят сейчас Советский Союз. Если «подставить» (выражение Симмонса!) коммунизм и мировую революцию на место православного мессианизма и панславизма, «тождество позиций» будет поразительным. Маккензи и Баргурн предложили считать «мессианскими» лозунги единого и народного антифашистского фронта, борьбы за демократию и даже... борьбы за мир.

Баргурн, кстати, выглядел самым крикливым и самоуверенным на данном симпозиуме. Прежде всего он предостерег своих коллег от «односторонних попыток» рассматривать современный советский мессианизм как простое возрождение панславизма или доктрин Достоевского XIX в. «Советский русский мессианизм, — заявил он, — это коммунистический империализм в русском наряде». Доказательства? Пожалуйста, — призывы СССР к миру, демократии и социализму, наконец, организация Всемирного Совета Мира, свидетельствующая о «мессианском или империалистическом отношении Советского Союза к делу мира(?)» (стр. 538). Далее Баргурн перечисляет «русские мессианские темы в советской идеологии»: 1) воспевание славы русского оружия и «военных услуг, оказанных Россией человечеству»; 2) прославление «внутренней миссии русского народа» (русский народ — «старший брат» по отношению к другим национальностям в СССР); 3) подчеркивание мирового значения русской культуры и особенно языка (стр. 540). Но как убедить читателя в том, что почитание советскими людьми памяти, скажем, Александра Невского и Дмитрия Донского, есть проявление чекоего «мессианизма»? Баргурн исподволь пытается извратить или замолчать реальные факты братской помощи русского народа другим нациям, славы русского оружия и мирового значения русской культуры и языка. Однако история остается историей, и, как бы ни старался Баргурн, никто не поверит, что Карла XII разгромили датчане, а не Петр I, что сражение при Ватерлоо произошло до битвы под Бородиным, что Эль-Аламейн, а не Сталинград сыграл во второй мировой войне решающую роль. По второму пункту Баргурн отделался парой антисоветских сплетен и замечанием о том, что «здесь не место пытаться рассматривать в целом вопрос об отношении русских и нерусских в советской системе» (стр. 543). Что же касается мировой значимости русского языка и культурного наследия, то докладчик даже не пытался ее отрицать. И неудивительно: кого можно заставить забыть, что Россия дала миру Толстого и Чехова, Чайковского и Рахманинова, Горького и Маяковского? Кого можно убедить в том, что язык одной из двух наиболее развитых в экономическом отношении держав, язык, признанный официальным Организацией Объединенных Наций, не имеет международной важности? Нет, возводимый г-ном Баргурном мост стоит на песке...

В погоне за призраком «русского мессианизма» и «национализма» Баргурн проявил совершенно исключительные изыскательские способности. Сделав горькое признание, что чисто «русские темы» не так уж часто встречаются на страницах советских изданий, Баргурн продолжал: «Но русская тема... имеет скрытые качества. Можно говорить о ней как подспудной, прорывающейся время от времени в открытых формах

в обычном потоке советской информации. Это взаимоотношение скрытого и открытого можно иллюстрировать, указав на физические черты «положительных» фигур, рисуемых в важном советском сатирическом органе «Крокодил» (!). По моим наблюдениям, идеальный, или «героический», или просто нормальный тип советского рабочего, чиновника или ученого изображается со всеми чертами «великоросса»: с высокими скулами, голубыми глазами, светлой шевелюрой и коренастой фигурой» (стр. 538)⁵¹.

На этих упражнениях новейшего Шерлока Холмса от антикоммунизма можно было бы и завершить описание тяжелых трудов участников сборища в Арден-Хаусе, если бы не одно важное обстоятельство. С выводами устроителей конференции и большинства ее участников решительно разошелся уже известный нам М. Карпович. Он выразил сомнение в правомерности сравнения идей Ленина и славянофилов и заявил, что славянофильское учение Хомякова и общинный социализм Герцена покоятся на предпосылках, не просто отличающихся, но «прямо противоположных основам советской идеи коллективизма» (стр. 279).

Если учесть уже известные нам «симпатии» Карповича к коммунизму, его протест может показаться не вполне понятным. Но в чем тут дело разъярили уже после смерти Карповича его ученики. «Люди одного типа,— писал Малиа,— желали изучать Россию, дабы бороться с угрозой коммунизма, или в более близкое нам время лучше воевать в холодной войне. Михаил Михайлович, разумеется, не имел ничего против такой деятельности самой по себе (!)», но он непоколебимо отказывался сводить «изучение России к игре — поиску прецедентов прошлого для объяснения нынешних зол... В целом, согласно этому взгляду, прошлое России является сплошной тиранией, варварством и тому подобными вещами, и коммунизм вполне логично происходит от них»⁵².

Конечно, Карпович ратовал отнюдь не за восстановление истинного положения дел. В отличие от Бердяева и его последователей он вовсе не считал столь уж плохим русский самодержавный режим и не без оснований опасался, что подобный «подход» к России очернит не только коммунизм (против этого Карпович, как мы видели, не возражал), но и его возлюбленную «либерально-западническую» Русь.

Однако питомцы Карповича в массе своей остались совершенно глухи к призывам своего наставника. Один только М. Фейнсон попытался как-то сочетать уроки Карповича с придуманной Бердяевым игрой в параллели. «Нетерпимость порождает нетерпимость, и самодержавные методы правления порождают самодержавный отпор,— привел он бердяевскую мысль.— Применительно к истории дореволюционной России эта формула выражает часть истины, но не всю ее. История русского либерализма от Радищева до Милюкова напоминает о том, что всегда существовало влиятельное общественное мнение, выдвигавшее в качестве альтернативы самодержавному правительству не другую форму самодержавия, а конституционный режим» (стр. 173).

Выступив адвокатом русского либерализма, Фейнсон сделал в сторону позиции Карповича и следующий шаг. Он решил, что нельзя чрезмерно чернить русское самодержавие. Сам по себе царский режим, пояснил Фейнсон, «был авторитарным, но не тоталитарным», а ведь между этими двумя определениями «лежит глубокая пропасть»⁵³. Направленность этих мудрствований ясна — большевизм-де хуже царизма. Но

⁵¹ В примечании Баргурн благодарит Карла Фридриха, привлечшего его внимание к этому «феномену», исследование которого может открыть «интересные возможности» для дальнейших изысканий (!).

⁵² «The Russian Review», 1960, № 1, p. 68.

⁵³ M. Fa i n s o d. How Russia is Ruled, Cambridge, Mass., 1957, p. 30.

как же быть с преемственностью? Неужто поставить крест на столь хлебной для буржуазных историков теме? Нет, Фейнсон не против клеветнической компаративистики. Он просто призывает иначе использовать ее. И тут на арену идеологической борьбы вытаскивается концепция, ключом к которой реакция сделала слово, еще несколько десятилетий назад отсутствовавшее в словарях на Западе,— «тоталитаризм».

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО «ТОТАЛИТАРИЗМУ» И ЕЕ ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ

«Семя тоталитаризма» — понятие мифическое, но если говорить о реальных семенах распространяемой под этим названием антисоветской клеветы, то они были брошены в почву «свободного» мира давно, еще до второй мировой войны, и брошены, по признанию одного из знатоков этой «проблемы», «церковниками, консерваторами или бывшими сторонниками коммунизма, разочаровавшимися в нем»⁵⁴. Знакомое явление — ход клеветы дают попы, реакционеры и ренегаты! После войны понятие «тоталитаризма» стало все чаще применяться под влиянием книжонки Д. Орвелла «1984» — грязного пасквиля на Советский Союз. Еще один достойный «источник», используемый «независимыми» учеными Запада,— бульварная литература.

Что же скрывается за термином «тоталитаризм»? Чтобы читатели не ломали голову, раскроем сразу его основной смысл. Это «понятие» призвано, так сказать, подвести под «общий знаменатель» советский строй и фашизм, скрыть тот очевидный факт, что фашизм есть порождение самого монополистического капитала. Когда «отождествления» России социалистической и России царской стало мало для удовлетворения антикоммунистических запросов реакции, возникла насущная потребность (и призыв Фейнсона был лишь ее слабым и запоздалым эхом) «приравнять» нашу систему к чему-либо еще более антипатичному, чем самодержавный строй. А так как в новейшей истории не было явления более ненавистного человечеству, чем фашизм, именно оно было избрано в качестве наиболее подходящего «эквивалента». И точно так же, как в свое время веховство объявило себя «антиподом» самодержавия, так и западный «свободный» мир был провозглашен абсолютным антиподом «тоталитаризма».

Политика требовала и наука подчинялась: разработкой этой темы занялись солидные академические центры Запада, «тоталитаризму» посвящались симпозиумы, конференции и специальные труды. Посильную лепту в разработку столь «актуальной» проблемы внес и «независимый» Гарвардский центр. На созванной в марте 1953 г. Американской Академией искусств и наук конференции по проблемам «тоталитаризма» представители Гарварда сыграли далеко не последнюю роль. Больше того, Гарвард взял на себя труд организовать публикацию всех материалов конференции⁵⁵, благо в этом научном центре был ученый муж, способный их отредактировать и прокомментировать, уже знакомый нам профессор Карл Фридрих.

Конференция была весьма представительной, в ней приняли участие такие «светила» буржуазной науки, как Г. Лассвелл, Ф. Литтелл, Л. Лоуэнталь, М. Карпович и др. Но наибольшее внимание привлекло, пожалуй, выступление человека, давно ставшего олицетворением связи американской исторической науки с политикой,— Джорджа Кеннана. Кеннан признался, что ненависть к коммунизму, а также «загруженность» дипломатическими делами помешали ему глубоко изучить

⁵⁴ R. Lowenthal. Totalitarianism Reconsidered, «Commentary», June 1960, p. 504.

⁵⁵ См. «Totalitarianism. Proceedings of a Conference held at the American Academy of Arts and Sciences», March 1953, Cambridge, Mass., 1954 (далее ссылки на страницы этого издания см. в тексте).

«коммунистическую доктрину». Но это не помешало ему исчерпывающе охарактеризовать «тоталитаризм». Кеннан объявил, что для «тоталитаризма» характерны пять основополагающих черт: большая территория и численность населения (в малых странах существует «большая близость между правящими и управляемыми»); предшествовавшая зарождению «тоталитаризма» война (в данном случае первая мировая); свержение монархии и «короткая, но неудачная эра либерализма»; высокоразвитое чувство национализма; большая сухопутная военная мощь.

Как нетрудно убедиться, Кеннан руководствовался в своих изысканиях только одним соображением — «приложимостью» этих признаков одновременно к нацистской Германии и СССР. Но произвольность выведенных им «черт тоталитаризма» такова, что «приложить» их можно к десятку самых разных стран и прежде всего к самим США. Так, США — кроме Китая, Индии, Индонезии — обладают и большой территорией, и большим населением (по сравнению с гитлеровской Германией норма перевыполнена вдвое).

Следующий «признак» можно с равным успехом отнести ко всем странам, участвовавшим в войнах 1914—1918 и 1939—1945 гг., — эти войны недаром именуются мировыми. И хотя Кеннану пришлось «забыть», что именно Советский Союз был главной силой, сокрушившей «тоталитарный» блок держав оси, миллионы людей на нашей планете помнят об этом.

Если взять свержение монархии, то оно произошло в разное время не только в России, но и в таких странах, как Франция, Италия, а также в США, которые освободились от заокеанской монархической опеки путем гражданской войны. Под «неудавшейся эрой либерализма» Кеннан, видимо, подразумевал скоротечное правление Временного правительства в России и период Веймарской республики в Германии. Но суть здесь не в том, что обе «либеральные эры» быстро миновали, а в том, что за ними последовало. В СССР к власти пришел революционный пролетариат, полностью разрушивший капиталистические порядки; в Германии — фашистская клика, упрочившая власть монополистического капитала и устранившая лишь некоторые буржуазно-демократические институты. Бесспорно и другое: буржуазно-демократические свободы давно уже подвергаются атакам правых кругов в самих США (напомним о расизме и маккартизме — последний был даже назван «тоталитарным» явлением некоторыми участниками конференции, например, Ханной Арендт).

Возьмем четвертый признак — высокоразвитое чувство национализма. Мы видели, с какими тяжкими муками участники конференции в Арден-Хаусе — вроде Баргурна — выискивали «национализм» в Советском Союзе, но так и не смогли найти. А между тем им не надо было ходить далеко — высокопарные фразы о превосходстве американского образа жизни рекой льются в Соединенных Штатах.

Наконец, что касается последнего, то большой сухопутной военной мощью обладают ныне многие государства, а наибольшей в капиталистическом мире — опять-таки США. Суть же дела — и об этом молчит Кеннан — в том, что капитализм порождает милитаризм, а социализм борется с ним: СССР последовательно выступает за всеобщее и полное разоружение, США последовательно отказываются принять его.

Выступавшие вслед за Кеннаном столь же усердно старались опорочить советский строй. Фридрих открыл в СССР официальную «хилиастическую» идеологию, объявляющую данное общество «совершенным и конечным» (!), партию, построенную по принципу «иерархии» и «олигархии», монополию «контроля» над информацией и армией, а также «полицейский террор» (стр. 52—53). Впрочем, требовать от этого «всемирно известного эксперта по тоталитаризму» понимания того, что такое социалистическая демократия, принцип демократического

централизма, советская конституция и т. п., было бы совершенно бессмысленно. В руках у Фридриха имелись произведения Маркса и Ленина, материалы советской прессы, но не отсюда черпал он свои знания о коммунизме. Его основными «источниками» были, как показывает доклад (и, особенно, выпущенная вслед за тем в сотрудничестве с Бржежинским монография о «тоталитарной диктатуре») ⁵⁶, разного рода сплетни и домыслы врагов Советской власти, но прежде всего характеристики и принципы «тоталитаризма», которые «сформулировали» в свое время Муссолини, Гиглер, Геббельс и Розенберг. О том, что этот, с позволения сказать, «способ» исследовать советский строй по нацистским документам не был случайностью, поведал Дэвид Ризман, выступавший в дискуссии по одной из подтем. «Мы знаем очень мало о Советском Союзе — заявил он. — Это выдвигает запутанную методологическую проблему: как же подойти к изучению исторического явления, которое недоступно нам. Ясно, что мы должны здесь действовать косвенным путем (work indirectly). Что касается советского тоталитаризма вообще, то нацистские документы, доступные теперь в большом количестве, открывают такой путь» (стр. 132).

Блестящий пример применения этой «методологии» продемонстрировали В. Гуриан, А. Лаугербах, К. Дейч и особенно Алекс Инкелес, углубившийся в проблему «Тоталитарный мистицизм». В ряде случаев государство ставит перед собой некие «высшие» цели, разъяснил он, а высшие цели требуют «мистики». Если мистическими символами служат диалектические законы истории — перед нами большевизм, если нация — перед нами нацизм, если истинное христианство — перед нами франкизм. Точно так же для некоторых государств характерны поиски «врагов». Если врагами объявлены носители буржуазной идеологии — это большевизм, если евреи — гитлеризм, если социалисты и антиклерикалы — франкизм (стр. 91). Остается теперь только подвести уже знакомый нам «общий знаменатель»: и то, и другое, и третье суть «тоталитаризм»!

Бред, не имеющий прикладного политического назначения, и в Америке расценивается как признак психического расстройства. Бредни же, используемые в политических целях (независимо от меры и степени упомощаения), считаются здесь проявлениями вполне нормального мышления лиц, обладающих учеными степенями и званиями (и, добавим кстати, получивших соответствующую подкормку в виде рокфеллеровских, фордовских или иных пособий и средств). Очевидно, именно в силу такого положения вещей некоторые видные психологи (конференция была столь представительна, что включала и таковых), не только не заметили ничего ненормального в поведении участников этого антисоветского бедлама, но сами старались перекричать друг их.

Именно психология, а скорее психопатология дает ключ к пониманию проблемы, что такое «демократия» и что такое «тоталитаризм», заявила Эльза Френкель-Брунsvик. «Все люди начинают с детства, — уточнил ее «идею» Эрик Эрикссон. — Не может ли этот общепризнанный факт значительно содействовать выявлению того, что есть всеобщего в тоталитаризме?» (стр. 156).

Этот вопрос носил отнюдь не умозрительный характер. Та же Френкель-Брунsvик рассказала на конференции об обследовании познавательных способностей группы американских детей и подростков (10 лет и старше): «Мы производили непосредственное наблюдение и экспериментальные работы, используя в качестве объектов исследования тех, у кого был предварительно обнаружен относительно

⁵⁶ С. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski. *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*, Cambridge, Mass., 1956.

демократический или крайне тоталитарный образ мыслей (и все это в возрасте около 10 лет! — Авт.). Восприимчивость к тоталитарным идеям соотносилась со взглядами родителей и домашним режимом (стр. 176)». Было обнаружено, что авторитарные личности соединяют в себе устойчивое поведение с неожиданными, обусловленными случайностью поступками, «сверхосторожность с тенденцией к импульсивным действиям», «смятение чувств с примитивностью, замкнутость с общительностью, крайнюю конкретность с крайними обобщениями, цинизм с влюбленностью, сверхреализм с рационализмом, самовосхваление с самодовольством, покорность сильной власти с сопротивлением ей, мужские черты с тенденцией к женской пассивности» и т. д. (стр. 188). После этого оставалось только подвести итог, заявив, что прежде всего к подобным импульсам «авторитарных индивидов» апеллирует «тоталитаризм» (стр. 199, 275 и др.).

Но, впрочем, конференция занималась не только такими невинными забавами, как использование психопатологии для анализа «тоталитаризма». Больше всего участников конференции волновала сложная практическая проблема: как свергнуть «тоталитарный», а проще сказать, — советский строй. Голоса явно разделились. Кеннан ставил на первое место «успешную военную интервенцию внешними силами» и только на второе место — силы, действующие изнутри (стр. 24). Некто Кечемети открыл даже новую закономерность XX в.: «роль внутренних переворотов» в свержении режимов становится меньше, роль «насилованного их устранения извне» растет (стр. 347). Франклин Литтелл утверждал, что в борьбе с «тоталитаризмом» «решающую роль» сыграет религия (стр. 108). Дейч посвятил целый доклад выявлению «трещин в монолите», поискам сил, «разлагающих тоталитаризм изнутри» (стр. 308—333). Но утешительных результатов по этому пункту конференция так и не дала. «Свободные страны, — обобщил Дейч, — не могут полагаться на разложение режимов советского типа... Кажется, нет достаточных доказательств и насчет того, что любая пропаганда и подрывная деятельность, не говоря уже о всеобщей войне, могут решительно повлиять на ход событий за железным занавесом в пользу свободы. Даже политические результаты всеобщей войны против тоталитаризма нельзя теперь предугадать, не говоря уже об атомном уничтожении...» (стр. 332).

С причинах этого смешанного со страхом уныния на конференции во всеуслышание заявил лишь один оратор — профессор экономики В. Леонтьев. Он не постеснялся бросить упрек своим коллегам в том, что они бесплодно разглагольствуют по поводу «разлагающих сил», между тем как время практически работает на коммунистов: «Дела у них идут лучше, чем у нас или у кого-либо еще. Если настоящие темпы роста сохранятся, они догонят и превзойдут нас всего через несколько десятилетий» (стр. 336). Обрисованная им перспектива столь сильно подействовала на Д. Ризмана, что тот предложил захватывающий экспериментальный проект: подвергнуть СССР бомбардировке, если не атомными бомбами, то потребительскими товарами. «Почему бы, — вопрошал он, — нам не забросать русское население путем воздушных бомбардировок всеми видами ширпотреба, сбрасывая джипы на Одессу и нейлон на Москву?» (стр. 378). Призыв Ризмана так и повис в воздухе, и конференция по данному вопросу ни к чему не пришла. Но все же цель ее была выполнена — ушат отборной клеветы был вылит на советский строй, а басни о родстве нацизма и социализма отвлекли внимание от более реальных проблем: ведь ни для кого не секрет, что именно США поддерживают ныне фашистские и полуфашистские режимы во всем мире, и что именно в самой «свободной» Америке пышно произрастает маккартизм.

Об этих проблемах, которые беспокоят общественность США, скажем словами американца Джона Сомервилла: «Наша нынешняя официальная политика направлена на поддержку идеологии фашизма... Чем более мы склонны допускать, что наша безопасность зависит от превращения нашей политики в антисоветскую и антикоммунистическую по преимуществу, тем более мы стремимся поддерживать фашизм везде, где мы его находим»⁵⁷.

«ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ ОПРОСА БЕЖЕНЦЕВ» ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОЧНИКАХ

На примере всей истории изучения нашей страны в Гарварде мы видели, что белоэмигрантские концепции оказали преобладающее влияние на формирование школы, традиций и методологии американских «советоведов». Однако жизнь шла вперед, все больше и больше оставляя позади предреволюционный период, в котором были столь «компетентны» Михаил Карпович и Николай Бердяев. Поиски более «достоверных» и «авторитетных» экспертов по эпохе социализма стали «объективной потребностью» американского буржуазного «советоведения».

Вторая мировая война, подхлестнув изучение СССР в США, в то же время «снабдила» реакционную науку тем, в чем она так остро нуждалась.

Войны, как и революции, приводят массы народа сверху донизу в состояние наивысшей политической активности, предельно обостряют классовое сознание. В годы Великой Отечественной войны, как и в период гражданской войны, советский народ наиболее полно проявил чувство долга перед Отчиной, стремление любой ценой отстоять социалистический строй. В этом народ был един, если не считать жалкой кучки отщепенцев. Классовая борьба внутри нашей страны, хотя и стихавшая по мере упрочения социализма, не могла не оставить после себя змеиных нор, где затаились осколки русской буржуазии, бывшие нэпманы, экспроприированные кулаки. Наконец, существовали и уголовные элементы. Все они, вместе взятые, составляли ничтожный процент населения нашей страны в целом. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз катализировало скрытую злобу и ненависть, затаенные имиды против социалистического строя. Естественно, что они охотно пошли на сотрудничество с фашистскими оккупационными властями, лично принимали участие в зверских расправах с советскими людьми, обогрили свои руки кровью тысяч невинных жертв.

Столь же естественно и то, что после освобождения оккупированной фашистами территории они поспешили удрать вместе с армиями вермахта в Германию, а после окончательного разгрома гитлеризма — скрыться где угодно, лишь бы не попасть в руки советского правосудия. И в этом, как известно, немалую услугу им оказали западные державы, организовавшие так называемые лагеря для «перемещенных лиц».

Эти лагеря и оказались своего рода находкой для американских «советоведов». А. Инкелес и Р. Бауэр пишут, что «американские исследователи СССР еще с конца войны отдавали себе отчет в том, что невозвращенцы и беженцы при любых обстоятельствах представляли потенциально ценный источник информации о советской системе»⁵⁸. Само собой разумеется, такой ценной «источниковедческой базой» не могла пренебречь американская историческая «наука»! А поскольку,

⁵⁷ Джон Сомервилл. Избранное, М., 1960, стр. 54, 78—79.

⁵⁸ A. Inkeles, R. Bauer. The Soviet Citizen, Cambridge, Mass., 1959, p. 8.

как мы видели, во многих отношениях Гарвард задавал тон всему изучению СССР в Соединенных Штатах, нельзя не воспринять как должное и то, что в деле использования «перемещенных лиц» Гарвардский центр снова сыграл первую скрипку.

Как упоминалось выше, гарвардская программа «Исследования общественных отношений» занимается изучением отношения советских людей к социалистическому строю. Но каким образом обитатели университетского городка в Массачусетсе могут дать более или менее авторитетную оценку настроений советского народа? Многие из них никогда не были в СССР и в глаза не видели «красных» (мы знаем уже со слов Дугласа, как к подобного рода контактам относилась ФБР). Тех же, кто посетил нашу страну, разговоры с гражданами Советского Союза никак не могли снабдить нужными Корпорации Карнеджи «сведениями».

Логика вещей, таким образом, вела гарвардцев к поиску «источника», способного дать требуемую монополистам информацию. Пути «перемещенных лиц» и сотрудников Центра неизбежно должны были скреститься. Назревало событие, которое представляет, на наш взгляд, необычайный интерес. В июне 1950 г. Гарвардский центр заключил контракт с правительством США — единственный за все время его существования, подчеркивал Лэнгер. Его официальное название — AF33(038) — 12909; в историю американского «советоведения» он вошел как «Гарвардский проект опроса беженцев»⁵⁹. Договаривающиеся стороны: от американской науки — Гарвардский центр, от американского правительства — Институт по исследованию людских резервов, находящийся в ведении военно-воздушных сил США. Контрактированная работа — опрос «перемещенных лиц» в Мюнхене и Нью-Йорке. Они-то и должны были помочь «выяснить» настроения советских людей и их отношение к социалистическому строю. Итак, перед нами знаменательный комплекс: враги нашей Родины, империалистическая военщина и буржуазные ученые. Бесподобное сочетание!

Как же выяснялись настроения советского народа в Мюнхене и Нью-Йорке? Основным звеном работы с «перемещенными лицами» была письменная анкета. Забегая вперед, сообщим, что за год работы было оформлено свыше 1200 анкет; кроме того, в урожай, собранный сотрудниками Центра в лагерях для «перемещенных лиц», входят 336 биографических и 375 специализированных интервью. Анкетные данные были сырьем, которое далее проходило процесс обработки и обобщения в самом Центре. Обилие сырья предопределило многоочечность исследователей: за четыре года (1950—1954) сотрудники Центра направили ВВС США 50 докладов. Наконец, на свет божий появился общий доклад, заголовок которого не оставляет ни малейших сомнений в том, что же именно американская военщина хотела узнать: «Стратегическая, психологическая и социологическая сила и уязвимость советской общественной системы».

Вот несколько анкетных вопросов, ответы на которые должны были помочь Пентагону выяснить «уязвимые места» СССР: «Если бы в Советском Союзе вспыхнуло народное восстание, какие группы населения сражались бы за советскую власть? Кто сражался бы против?». Аппетит, как известно, приходит во время еды. Можно представить, с каким вожделием гарвардцы взирали на перспективу «народного восстания» в нашей стране. Им уже начинало мерещиться, что социализм побежден, в России реставрированы капиталистические порядки. И у них наготове новые «стратегические» вопросы: «Если большеви-

⁵⁹ См. «Russian Research Center», Ten Years Report..., p. 7; A. Inkeles, R. Bauer. Указ. соч.; R. Bauer, A. Inkeles, C. Cluckhohn. How the Soviet System Works, Cambridge, Mass., 1956.

стский режим будет свергнут, что нужно сделать с колхозами?», «Если большевистский режим будет свергнут, как следует поступить с членами партии? Нужно ли с ними обращаться одинаково? Как насчет МГБ (НКВД) и милиции? Кто еще заслуживает особого внимания?», «Допустим, большевистский режим устранен, и к власти пришло новое правительство. Что именно в прежней системе вы бы сохранили? Что изменили бы?».

Но, грезя о столь желанной, хотя и эфемерной перспективе, гарвардцы не забывали и о трудоемкой будничной работе. Лучше синица в руках, чем журавль в небе,— в соответствии с этим золотым правилом они выпытывали у опрашиваемых все, что могло пригодиться для разведки, в частности, для вербовки тех, кто готовил бы «народное восстание». «Вспомните, пожалуйста, ваших трех ближайших друзей в 1940 г. и сообщите о них следующие сведения: что вас сблизило? его (ее) классовое происхождение? его (ее) профессия в 1940 г.? был ли он (она) членом партии и комсомола? что вы делали большей частью вместе?». «Когда вы жили в Советском Союзе, поступали ли к вам какие-либо сведения путем слухов? Если да, то какие это слухи? Где вы слышали эти слухи?»

И такого рода вопросы задавали люди, претендующие на роль ученых, да еще объективных и не зависящих от политики!

По признанию А. Инкелеса и Р. Бауэра, принимавших активное участие в осуществлении проекта, их часто спрашивали сами американцы: «Как вы можете рассчитывать узнать что-нибудь о советских людях и их жизни, разговаривая с озлобленными беженцами, покинувшими родную страну?.. Откуда вы знаете, что они вам говорят не то, что вы как раз и хотели услышать?.. Если они против системы, то как можно ожидать, что они вам сообщат верные сведения?». «Было очевидно, что интервьюируемые были в самом деле настроены антисоветски»,— пишут далее Инкелес и Бауэр,— причем «те, которых интервьюировали в США, были более яркими антикоммунистами по политическим взглядам». Некоторые из опрашиваемых «постоянно... сеговали на то, что армии западных стран не атаковали СССР по окончании войны в Европе». Наиболее ярко характеризует облик подонков общества, на чье мнение полагались гарвардские «советоведы», следующий пример. В анкетах стоял вопрос: «Вы за то, чтобы сбросить атомную бомбу на Москву с целью уничтожения большевистских вождей, даже если это означает гибель тысяч невинных мужчин, женщин и детей?». Многие опрашиваемые ответили утвердительно!

Анкеты были явно рассчитаны на наших лютых врагов; те же отвечали как раз то, что от них «хотели услышать». Это признали и сами сотрудники Гарварда. «Точно так же, как мы предположили, что наш отбор был специально нацелен на лиц, которые в силу сложившихся обстоятельств жизни были настроены яро антисоветски, можно предположить и то, что эти лица проявят свою антисоветскую направленность прежде всего потому, что их опрашивали американцы. Другими словами, как отбор, так и отклики будут взаимно антисоветскими»,— признают Инкелес и Бауэр. Но это не помешало им — как, впрочем, и другим американским «экспертам по России» — написать не одну книгу об СССР, основываясь на «информации», полученной от предателей и преступников.

Правда, гарвардцы пытаются уверить, что многие «перемещенные лица» не совершали никаких преступлений против народа, а якобы являются лишь «идеологическими» противниками большевиков и советской власти. Их-то и выдают за «беженцев», ищущих политическое убежище на Западе.

Но в действительности положение было совершенно другим. Да, в лагерях для «перемещенных лиц», кроме предателей, находились со-

ветские люди, оказавшиеся в Германии по не зависящим от них причинам. Попав в плен или будучи угнанными в сердце «третьего рейха» в качестве дешевой рабочей силы, они стремились вернуться на Родину. Однако в планы американской и английской военных администраций отнюдь не входило помочь этим людям вернуться домой. Наоборот, они постарались всеми средствами задержать советских граждан на Западе, выдав совершаемое ими таким образом насилие над личностью за «добровольный выбор».

Среди этих «перемещенных лиц» действительно нашлись малодушные, слабохарактерные люди, поверившие домыслам буржуазной пропаганды и оставшиеся на Западе. Но, порвав со своей Родиной, они неизбежно должны были искать поддержки у ее недругов, становясь пешками в их грязной политической игре. Эти люди поняли, что пропагандисты из военной администрации и их агенты в лагерях уговаривали их не возвращаться на Родину отнюдь не из гуманных побуждений. Очень скоро они поняли и то, что в условиях жестокой борьбы за существование место под солнцем западной «свободы» можно получить лишь определенной ценой — ценой фразы для газетчиков о «перемене убеждений», а затем и сотрудничества с западной разведкой. Инкелес и Бауэр пишут о подозрениях «беженцев», что опрос преследовал разведывательные цели. Видимо, какая-то группа «перемещенных лиц» длительное время отказывалась идти на сделку с совестью и помогать Гарвардскому центру в его «исследованиях». Но для этой группы у американских ученых имелся особый подход.

Прежде всего гарвардцы прибегли к помощи 45 «посредников» — самых отвязанных врагов Советской власти, вызвавшихся первыми заполнить анкеты. Они должны были подбивать обитателей лагерей соглашаться на опрос. Однако, не слишком полагаясь на эффективность их увещаний, организаторы опроса использовали и «материальный стимул». Опрашиваемым платили 15 марок в день — «это составляло вполне приличное однодневное жалованье и, несомненно, повлияло на согласие некоторых дать интервью». Кроме того, соблюдалась полная анонимность, в анкетах прямо говорилось: «нам не нужно ваше точное имя».

Но поскольку и при всем этом, видимо, не было уверенности, что опрашиваемые будут давать нужные ответы, составители анкет решили «подтолкнуть» их путем такой тенденциозной постановки вопросов, которая исключала всякую возможность правдивого ответа. Вот, например, способ, которым пользовались гарвардцы, подводя опрашиваемых к нужному ответу. Ставился вопрос: «Кто лучше всех одет в Советском Союзе: партийные работники, служащие, рабочие, крестьяне или интеллигенция?». Нужное слово следовало подчеркнуть. Тут же приводился пример ответа, где было подчеркнуто слово «интеллигенция!» Следующим вопросом выяснялось, какая группа из оставшихся одевалась лучше других. Здесь было подчеркнуто слово «партийные работники». И точно таким же образом рекомендовалось указать на крестьян, а затем рабочих, когда требовалось определить, кто в СССР одет хуже всего!

На основании подобных ответов людей, которым за «вполне приличное жалованье» предлагалось сообщить именно то, что спрашивающие «хотели услышать», гарвардские «исследователи» создавали труды о нашей стране. Ценность этих трудов не просто равна нулю — это величина с отрицательным знаком. Чего стоит, например, вывод о том, что характер и «склонности среднего русского» несовместимы со «структурой советского общества»? Или утверждение, что «страх, уныние и отчаяние» являются чертами русского национального характера, сделанное только потому, что по сравнению с американцами «бывшие советские граждане более пессимистичны... они проявляют большое недоверие к другим»? Можно догадаться о причинах пессимизма перебежчиков, при-

обретших пятнадцать марок в день и потерявших Родину. Но какое отношение имеют их настроения к нашей действительности и нашим гражданам? Даже сами Инкелес и Бауэр, разом перечеркивая все свои усилия «достоверно» описать психологию советского человека, признают: «Те, кого мы опрашивали, ни в коем случае не могут рассматриваться как представители советского населения».

Гарвардский проект — детище контракта с Пентагоном — вряд ли принес какую-либо пользу даже военным разведывательным органам, не говоря уже о науке. Но ущерб, который причинили порожденные им «исследования» объективному изучению Советского Союза в США, бесспорен.

* * *

Больше всего на свете буржуазные ученые кичатся «независимостью» своего творчества. Но знакомство с деятельностью Русского исследовательского центра в Гарварде убеждает всякого, обладающего хоть крупицей объективности, в том, что эта «независимость» — сплошной миф.

«Независимые» гарвардские исследователи находятся в самой прямой зависимости от финансового капитала США.

«Независимые» гарвардские исследователи находятся в самой прямой зависимости от политики правящих кругов США.

«Независимые» гарвардские исследователи находятся в самой прямой зависимости от белоэмигрантских концепций и схем.

Но дело не только в том, что американское «советоведение» подчинено политическим целям. Главное в том, что оно служит грязной политике — той политике, которая неизбежно ассоциируется в сознании американцев со словами «холодная война» и «маккартизм». Роковое влияние этих явлений на интеллектуальную жизнь Америки трудно выразить лучше, чем это сделал Артур Миллер — известный американский драматург. «Я хотел бы верить, что этот период в истории Америки приходит к концу, — писал он в газете «Herald Tribune». — Грубо говоря, я назвал бы его десятилетием вышибания мозгов»⁶⁰.

Трудно пока судить, приходит ли действительно к концу эта эпоха «вышибания мозгов», в которую столь солидную лепту внес «независимый» Гарвардский центр. Но совершенно ясно другое: рано или поздно история «вправляет» мозги тем, кто не считается с ней. Как и когда это произойдет, покажет жизнь. Нам хотелось бы пожелать только одного — чтобы это случилось поскорее и чтобы при этом не был обойден и Гарвардский центр.

⁶⁰ А. Миллер. Спутник и американская интеллигенция. Цит. по журналу «За рубежом», 1961, № 11, стр. 10.